



DOI: <http://dx.doi.org/10.15688/jvolsu2.2014.3.3>

УДК 81'42

ББК 81.055.1

КОНЦЕПТ «ПРАВИЛЬНОСТЬ» В РОМАНЕ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО «ИДИОТ»

Гильманов Владимир Хамитович

Доктор филологических наук,
профессор кафедры исторического языкознания, зарубежной филологии и документоведения
Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта
gilmanov.wladimir@rambler.ru
ул. Александра Невского, 14, 236020 г. Калининград, Российская Федерация

Гильманова Анастасия Владимировна

Кандидат филологических наук, библиотекарь
Калининградской областной универсальной библиотеки
anastasia.gilmanova@rambler.ru
просп. Мира, 9/11, 236022 г. Калининград, Российская Федерация

Аннотация. Статья посвящена проблеме оценки в романе Ф.М. Достоевского «Идиот». Особое внимание уделяется специфике реализации концепта «правильность» в тексте романа. Идеино-коммуникативная разьединенность и экзистенциальное одиночество персонажей, характерное для большинства произведений Достоевского, достигают в романе «Идиот» особого трагического накала, доводя смысловую полифонию его образной структуры до максимума коммуникативной глухоты героев по отношению друг к другу. Ее причиной является ярко выраженная эгоцентрированная замкнутость героев в собственной страстно-греховной индивидуальности, из «черной дыры» которой они обрушивают на других всю силу своей сокрушительной способности суждения. Неправомерная страстная греховность этих суждений и вызванных ими поступков, обусловленная слепотой в отношении собственной поврежденной грехом сущности, разрушает как самих героев, так и окружающих их людей. Именно эта идея – идея слепоты в отношении себя, порождающей греховную слепоту в отношении другого – является одной из основных в романе. Грех непонимания истинной сути человека, заключенной, согласно Достоевскому, в логосе Христа, вызывает разрушение всех герменевтических мостов и коммуникативных связей. Нарастание непонимания есть следствие собственной греховности, аффицирующей различные концептуализации соответствующих ситуаций и поступков в плане их правильности/неправильности. Следствием этого является отчуждающая дробность понимания и выражения концепта «правильность» в нарративных практиках различных героев. Проведенный анализ лексем, посредством которых реализуется этот концепт в романе «Идиот», позволяет сделать вывод о разрушении единого критерия оценки, отраженном в произведении. Трагическая разобщенность «герменевтических кругов» персонажей романа предстает как причина не просто «антропологической катастрофы», но настоящего бытийного коллапса со всеми его эсхатологическими атрибутами – поврежденность ума и смерть.

Ключевые слова: концепт «правильность», языковое сознание, лексема, критерий оценки, ментальная изоглосса.

Концептосфера творчества Ф.М. Достоевского продолжает оставаться «зоной» великих испытаний для исследователей, поскольку имеет подчеркнута экзистенциальную специфику. Вхождение в эту «зону» неизбежно связано с герменевтическими опасностями по причине того, что концепты художественного мира Достоевского проявляют примечательную асимметричность между их денотативным объемом и смысловым наполнением. Толкование этих концептов необходимым образом предполагает психоаналитическое включение в их экзистенциальную дискурсивность, каковая, по сути своей, у Достоевского всегда полифонична [1, с. 89]. Исследователь обречен на погружение в карнавал взаимодействующих нарративных практик, в которых смысл используемых нарраторами лексем скорее переживается, чем ясно дискурсивно понимается в той или иной ситуации коммуникативной лихорадки. Это обусловлено общей направленностью художественного метода Достоевского в поле концептуального напряжения между романтической субъектностью и христоцентрическим экзистенциализмом, что, в свою очередь, имеет отношение к феноменологии бессознательного. Именно этим объясняется значительное влияние Достоевского на психоанализ и мировую традицию экзистенциализма, а также то, что многие из его концептов представляют собой «ментальные изоглоссы» (термин Ю.С. Степанова, см.: [2, с. 34]). К таким концептам относятся, прежде всего, те, которые представлены в концептосфере двух важнейших для генеалогии мирового экзистенциализма произведений Достоевского – «Записки из подполья» и «Идиот».

Роман Достоевского «Идиот» недаром назван К.А. Степаняном «романом-загадкой» [3, с. 123]: исследователи оценивают его крайне неоднозначно. В то же время наиболее обоснованной и продуктивной представляется попытка «раскодировать» текст романа, обращаясь к Библии. Данная статья посвящена, однако, не библейской символической в романе, а проблеме оценки – одной из центральных как в Библии, так и в «Идиоте». Возможно, ситуативно ярче всего проблема оценки выражена в Библии в ветхозаветной истории царя Давида, которому надо было увидеть свой собствен-

ный грех в другом, чтобы осудить себя: «Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану: жив Господь! Достоин смерти человек, сделавший это... И сказал Нафан Давиду: ты – тот человек» (2 Царств 3, 12: 5–7).

Христианский постулат о неправомерности суда над другим в ситуации неосознаваемой собственной греховности («И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревно в твоём глазе не чувствуешь?») Матфей 7: 3) является одной из основных идей текста романа. Слепота в отношении собственной греховности в романе Достоевского сочетается со слепотой в отношении другого. «Идиот» – это роман о непонимании, о невозможности адекватного восприятия другого. Князь Мышкин в разговоре с Радомским восклицает: *Почему мы никогда не можем всего узнать про другого, когда это надо, когда этот другой виноват!* (с. 660)¹. Это непонимание в романе является свидетельством разрушения некоего общего критерия правильности, которое приводит к коммуникативной неспособности героев, к невозможности услышать друг друга. Роман «Идиот», пожалуй, наиболее «полифоничный» из всех романов Достоевского, но эта полифония со знаком минус, так как она исключает возможность диалога и оказывается свидетельством коммуникативной глухоты большинства героев, трагичной и для них самих, и для окружающих.

В этой ситуации концепт «правильность» для каждого из героев реализуется по-разному. Проанализируем содержание данного концепта в языковом сознании большинства героев и персонажей романа, чтобы выявить, насколько оно разнится.

Необходимо отметить, что для большинства героев нехарактерно однозначное представление о правильности. Правильность «без вариантов» свойственна сознанию светского льва Тоцкого, *человека чрезвычайного эгоизма* (с. 45), который практически не рефлексит по поводу своих мыслей и поступков, и племяннику Лебедева, Докторенко, носителю «новой философии» жизни. «Правильность» реализуется в речи Тоцкого через лексемы *порядочность, мерка, солидность, общество, рассудок, консервативность, достоинство, вкус, изящество* и словосочетание *тонкое развитие: Себя, свой покой и*

комфорт он любил и ценил более всего на свете, как и следовало в высшей степени порядочному человеку (с. 49); Он решил досидеть до конца и ...оставаться лишь наблюдателем, что, конечно, и требовалось его достоинством (с. 181). Оппозиционный концепт «неправильность» реализуется посредством лексем с семантикой «непорядка» – смешное, романтическое, эфемерное, бурда, варварское, недозволенное, неприличное, непринятое, неестественное: Если б он знал, например, что его убьют под венцом или произойдет что-нибудь в этом роде, чрезвычайно неприличное, смешное и непринятое в обществе, то он, конечно бы, испугался... того, что это произойдет с ним в такой неестественной и непринятой форме (с. 51). При этом в разряд неправильного попадают также противопоставленные рассудку душа и сердце: Тут... было что-то другое, подразумевалась какая-то душевная и сердечная бурда, – что-то вроде какого-то романтического негодования бог знает на кого и за что, какого-то ненасытимого чувства презрения, совершенно выскочившего из мерки, – одним словом, что-то в высшей степени смешное и недозволенное в порядочном обществе (с. 50).

Та же четкость в разделении правильного и неправильного свойственна персонажу с совершенно иным социальным положением – «не окончившему курса» Докторенко. «Правильность» выражается в его речи через лексемы *гордость, свобода, право, здравый смысл*, которые заменяют *честь и совесть*: ...*благородный и честный человек ...есть все равно что здравомыслящий человек... ...если в вас есть то, что вы называете на языке вашем честью и совестью и что мы точнее обозначаем названием здравого смысла, то удовлетворите нас... вы делаете не для нас, а для справедливости* (с. 305). Четкое разделение правильного-своего и неправильного-чужого и постулирование превосходства разума над душой и сердцем качественно сближает, казалось бы, несоотносимые взгляды Тоцкого и «социалистов» на правильность.

Правильность Рогожина в романе также вполне однозначна: это врожденная пра-

вильность всей «рогожинской жизни», правильность его отца, правильность, отраженная в семантике лексем *деньги, порядок, старая вера*: «*В батюшку ты!*», говорит Рогожину князь Мышкин (с. 237), и замечает то же, что и Настасья Филипповна: *если бы не было с тобой этой напасти, не приключилась бы эта любовь, так ты, пожалуй, точь-в-точь как твой отец бы стал, да и в весьма скором времени* (с. 242). Ср., высказывание Настасьи Филипповны: *стал бы деньги копить, и сел бы, как отец, в этом доме со своими скопцами... и не два миллиона, а, пожалуй бы, и десять скопил* (с. 243). Страсть к Настасье Филипповне самим Рогожиным изначально видится как отступление от исконной отцовской правильности, как грех: *я действительно чрез Настасью Филипповну... родителя раздражил... Попутал грех* (с. 13). Находясь во власти страсти, Рогожин не приходит к открытию иной правильности и продолжает оставаться Рогожиным, воспринимая Настасью Филипповну в контексте правды своего отца: *что она надо мной в Москве выдывала! А денег-то, денег сколько я перевел* (с. 238).

Однако неправильная страсть оказывается для Рогожина сильнее отцовской правды, он не в силах ей противостоять: *У нас, у родителя, попробуй-ка в балет сходить, – одна расправа – убьет! Я, однако же, на час втихомолку сбегал и Настасью Филипповну опять видел; всю ту ночь не спал* (с. 14). Более того, эта неправильная страсть делает невозможным и возврат к прежнему размеренному укладу жизни, лишает Рогожина законной основы существования: *Умру, говорю [Настасье Филипповне], не выйду, пока не простишь, а прикажешь вывести – утоплюсь; потому – что я без тебя теперь буду?* (с. 239); *Вот как у нас теперь... Как ты обо всем этом думаешь, Лев Николаевич? – Сам как ты думаешь? – переспросил князь... – Да разве я думаю! – вырвалось у того. Он хотел было еще что-то прибавить, но промолчал в неисходной тоске* (с. 241). И все же Рогожин решает эту дилемму в контексте правды своего отца, убивая Настасью Филипповну в своем доме и решая ее *ни за что... и никому не отдавать* (с. 688).

Однако для большинства героев и персонажей романа представление о правильности оказывается не столь однозначным. Так, в речи лакея Епанчиных концепт «правильность» репрезентируется лексемами *следует, прилично, порядок, амбиция*. Поведение князя, пожелавшего поговорить со слугой вместо того, чтобы ждать в приемной, характеризуется лакеем как неправильное – *чуждое, неприличное, нелепое* – и вызывает в нем *решительное и грубое негодование* (с. 24): *Нет, здесь вам нельзя покурить, а к тому же вам стыдно и в мыслях это содержать... [...] ...вам здесь и находиться не следует..., так как что совершенно прилично человеку с человеком... совершенно неприлично гостю с человеком* (с. 23). Однако слова князя меняют отношение слуги к нему, и лакей начинает относиться к Мышкину именно как человек к человеку, неправильно с позиций приличий и этикета, но правильно в соответствии с голосом сердца: *Камердинер... главное понял, что видно было даже по умилившемуся лицу его; Если уж так вам желательно... покурить, то оно, пожалуйста, и можно, коли только поскорее... только форточку растворите, потому оно непорядок* (с. 27).

Тот же выбор между принятым в обществе, формальным представлением о правильности и ощущением правильности сердцем делают Елизавета Прокофьевна и Аглая. Так, Елизавета Прокофьевна отвергает мысль о возможности сватовства князя к Аглае как нелепую и вздорную, так как подобный брак не может считаться правильным с позиций света: *князь непопозволенный демократ, без чина* (с. 574), *больной, странный и слишком уж незначительный* (с. 575). Однако именно сердце подсказывает ей неправильность такого отношения: *Прежде всего уж то, что «этот князишка – больной идиот... ни света не знает, ни места в свете не имеет... Да и такого ли... мужа воображали и прочили мы Аглае?»... Сердце матери дрожало от этого помышления, ...хотя в то же время что-то и шевелилось внутри этого сердца, вдруг говорившее ей: «а чем бы князь не такой, какого вам надо?»* (с. 574). Несмотря на мучительные колебания, Елизавета Прокофьевна всегда выбира-

ет правильность сердца. Ее взгляд на планируемый брак Тоцкого с Александрой диаметрально противоположен взгляду Тоцкого: лексемой *этикет* (внешняя форма) выражается концепт «неправильность», тогда как «правильность» связывается с внутренним содержанием, *откровенностью, ясностью и честностью: у нас, видите ли... здесь теперь все секреты... Так требуется, этикет какой-то, глупо. И это в таком деле, в котором требуется наиболее откровенности, ясности, честности. Начинаются браки, не нравятся мне эти браки* (с. 94).

Правильность сердца Елизаветы Прокофьевны связана с христианским представлением о должном и справедливом, а потому «разумное» и эгоистичное представление о правильности выразителя «новой философии» Докторенко ею определяется как в корне неправильное, как *сумбур, хаос, безобразие, низость*. Правильность «новой философии» для Елизаветы Прокофьевны является «вывернутой» правильностью черта, обратной тому, что должно в истинной вере: *Это низость, низость! Это хаос, безобразие, этого во сне не увидишь! ...Он Бурдовский] денег твоих... пожалуйста, по совести не возьмет, а ночью придет и зарежет, да и вынет их из шкатулки. По совести вынет! ...все навыворот, все кверху ногами пошли... Сумасшедшие! Тщеславные! В бога не веруют, в Христа не веруют! ...И не сумбур это, и не хаос, и не безобразие это?* (с. 323–325).

Аглая, будучи, по словам князя, *очень похожей на Лизавету Прокофьевну* (с. 487), отличается от матери обостренной стыдливостью и скрытностью в выражении чувств. Об этом говорит Елизавета Прокофьевна: *дура с сердцем и без ума такая же несчастная дура, как и дура с умом без сердца. Старая истина. Я вот дура с сердцем без ума, а ты дура с умом без сердца; обе мы и несчастны, обе и страдаем* (с. 94). В то же время представление Аглаи об «уме» двойственно: она разделяет разум и «главный ум» – правильность нравственного чувства: *если говорят про вас [князя] ... что вы больны иногда умом, то это несправедливо; ...потому что хоть вы и в самом деле больны умом... то зато главный ум у вас*

лучше, чем у них всех, ...потому что есть два ума: главный и не главный (с. 487). Борьба «двух умов» в Аглае острее, чем в ее матери. Так, «неглавным умом» Аглая считает отсутствие гордости в князе неправильным: *Для чего же вы себя унижаете и ставите ниже всех? Зачем вы все в себе исковеркали, зачем в вас гордости нет?* (с. 387). В то же время именно отсутствие гордости и способность прощать не только правильны с позиций *главного ума*, но и становятся причиной любви Аглаи к князю: *...всякий, кто захочет, тот и может его обмануть, и кто бы ни обманул его, он потом всякому простит, и вот за это-то я его и полюбила...* (с. 642). Аглая считает невозможным судить душу Ипполита и связывает неправильность такого суда с грубостью правды факта и отсутствием нежности – любви к человеку: *А с вашей стороны я нахожу, что все это очень дурно, потому что очень грубо так смотреть и судить душу человека, как вы судите Ипполита. У вас нежности нет: одна правда, стало быть – несправедливо* (с. 484).

Однако в объяснении с Настасьей Филипповной Аглая судит ее, изначально заявив о своей нелюбви, опираясь только на известные через третьих лиц факты, и считает свой суд правильным. Князь, восклицая: *Аглая, остановитесь! Ведь это несправедливо* (с. 645), тщетно взывает к ее «главному уму». В отличие от Елизаветы Прокофьевны, Аглая делает выбор не в пользу правильности нравственного чувства и теряет себя: *...она попала в католическую исповедальню какого-то знаменитого патера, овладевшего ее умом до иступления* (с. 695).

Отметим, что предел двойственности правильности проявляется в сознании Лебедева, который признается в неразделимости для него лжи и правды: *и ложь, и правда – все у меня вместе и совершенно искренно* (с. 354). Этот сплав несопоставимого Лебедев косвенно объясняет с позиций христианского мировидения: *Дьявол одинаково [с Богом] владычествует человечеством до предела времен еще нам неизвестного* (с. 424).

Правильность Мышкина связана с новозаветным представлением о человеке. С одной стороны, князь отдает себе отчет в гре-

ховности каждого; так, на слова Фердыщенко: *нет даже такого самого честного человека, который бы хоть раз в жизни чего-нибудь не украл*, Мышкин отвечает: *Мне кажется, что вы говорите правду, но только очень преувеличиваете* (с. 168). С другой стороны, правильным для Мышкина является не это свидетельство поврежденности человеческой природы, а тень образа Божьего в каждом.

«Правильность» в речи Мышкина эксплицируется лексемами *сердце, сострадание* (в противоположность неправильной «страсти»), *жалость, прощение, детское, чистота, невинность, свет, свобода, ясность: надо... чтобы все ясно читали друг в друге, чтобы не было этих мрачных и страстных отречений... пусть все это совершится свободно и... светло* (с. 260); *...у него [Рогожина] огромное сердце, которое может и страдать, и сострадать. [...] Сострадание есть главнейший и, может быть, единственный закон бытия всего человечества* (с. 261); *Я ужасно люблю, что вы такой ребенок, такой хороший и добрый ребенок! Ах, как вы прекрасны можете быть, Аглая!* (с. 595).

«Неправильность» в речи князя также связывается с внутренним миром человека и выражается лексемами *мрак, страсть, безумие, сумбур, хаос, безобразие* (несоответствие образу Христову): *чужая душа потемки, и русская душа потемки... ..какой иногда тут, во всем этом, хаос, какой сумбур, какое безобразие!* (с. 259). Неправильностью является «атеизм», «неверие», отказ от Христа и попытка воспринимать жизнь с позиций бездуховного ума: *Он человек действительно очень умный... В бога он не верует. Одно только меня поразило: что он вовсе как будто не про то говорил... ..хотя с виду и кажется, что про то* (с. 248–249).

Именно сострадающий Мышкин более чем кто-либо другой ощущает невозможность «читать друг в друге», когда каждый слышит только то, что сам считает правильным, – в ситуации коммуникативного коллапса. Так, его попытка объясниться с ученым атеистом оказывается заведомо безуспешной: *Я это ему тогда же и высказал, но, должно быть, неясно или не умел выразить, потому что*

он ничего не понял (с. 249), поскольку собеседник способен воспринимать только доводы разума и логики. Столь же невозможно объяснить уверенному в правильности собственных убеждений Докторенко, что он неправ в параметрах иного мировосприятия: *Что именно вы тут пропустили, я не в силах и не в состоянии вам точно выразить, но для полной справедливости в ваших словах, конечно, чего-то недостает* (с. 306). Признавая, что Радомский «может быть» «почти что» прав, анализируя отношения князя с Настасьей Филипповной *разумно и ясно... с чрезвычайной даже психологией* (с. 655), Мышкин, однако, не признает этот анализ «до конца правильным»: *Видите, Евгений Павлович, я вижу, что вы, кажется, всего не знаете* (с. 658). Объяснить, в чем не прав Радомский, князь ему не может, так как живущий «неглавным умом» Евгений Павлович этого не поймет; однако князя может понять еще сохраняющая способность детского восприятия Аглая: *Видите: обе они говорили тогда не про то, совсем не про то, потому так у них и вышло... Я никак не могу вам этого объяснить; но я, может быть, и объяснил бы Аглае...* (с. 658). Необходимо оговориться, что Радомский все же оказывается человеком, у которого *есть сердце* (с. 694), потенциально способным, избавившись от иронии, прийти к постижению правильности христианского чувства.

В ситуации с Настасьей Филипповной Мышкин пытается воззвать к тому же – сердцу, ощущению истины, которое в философии Достоевского видится заключенным практически в каждом человеке как частица Божьего образа. При первом же взгляде на портрет Настасьи Филипповны князь отмечает главную черту ее внешнего и внутреннего облика – гордость, которая в сознании Мышкина связана с неправильностью, так как в гордости человек проводит жесткую границу между собой и другим. Спасением для Настасьи Филипповны, по мысли князя, может стать оппозиционная гордости доброта (способность принять и простить другого): *Это гордое лицо, ужасно гордое, и вот не знаю, добра ли она? Ах, кабы добра! Все было бы спасено!* (с. 42). Однако все попытки Мышкина помочь оказываются тщетными:

гордость в Настасье Филипповне сильнее добра, сильнее любви, и эта гордость способна уничтожить не только ее, но и князя: *В своей гордости она никогда не простит мне любви моей, – и мы оба погибнем! Это неестественно, но тут все неестественно... Неужели может быть такая любовь, после того, что я уже вытерпел! Нет, тут другое, а не любовь!* (с. 495).

Гордость определяет внутреннюю сущность героини: правильным для Настасьи Филипповны становятся не доброта, любовь и свет, а то, что неправильно, неестественно для подлинной природы человека – мука, возмущение, отмщение, позор, обостренно и непрерывно переживаемый. Страдание становится для героини не способом очищения, не средством, а целью, источником «ужасного, неестественного наслаждения»; по словам князя, *она слишком замучила себя самым сознанием своего незаслуженного позора! ...в этом непрерывном сознании позора для нее, может быть, заключается какое-то ужасное, неестественное наслаждение, точно отмщение кому-то. Иногда я доводил ее до того, что она как бы опять видела кругом себя свет; но тотчас же опять возмущалась* (с. 493).

Отметим, что в редкие минуты просветления неправильность, разрушительность того, чему она отдается, признает сама Настасья Филипповна: *я уже почти не существую, и знаю это; бог знает, что вместо меня живет во мне* (с. 517). То, что живет в героине, в романе определяется как *сумасшествие, безумие, болезнь души: бедная, больная душа не вынесла* (с. 668). В параметрах этой «болезни» правильными являются мука, страдание и бегство от спасения, жажда разрушить себя: *Да, конечно, это был сон, кошмар и безумие; но тут же заключалось и что-то такое, что было мучительно-действительное и страдальчески-справедливое, что оправдывало и сон, и кошмар, и безумие, – говорит князь* (с. 515). Эта «болезнь души» Настасьи Филипповны ведет к смерти, и вера Мышкина в возможность воскрешения героини – [Князь] *искренно верил, что она может еще воскреснуть* (с. 667) – оказывается напрасной. Физическая смерть Настасьи Филипповны становится

ся логическим завершением окончательного воцарения смерти в ее душе; эта «смерть души» означает крушение надежды Мышкина на спасение и в свою очередь погружает его в душевное небытие.

«Мужской вариант» смерти души выбирает в романе Ипполит Терентьев. Это не страстное, неестественное наслаждение страданием на сердечно-эмоциональном уровне, а процесс логического доказательства неправильности – ошибочности, жестокости, бесчувственности, глухоты, тьмы, наглости, бессмысленности, невозможности, несправедливости – самого бытия на уровне разума: *мне как будто казалось временами, что я вижу, в какой-то странной и невозможной форме, эту бесконечную силу, это глухое, темное и немое... всесильное существо* (с. 464); *Я согласен, что... без непрерывного поядения друг друга устроить мир было никак невозможно... но... если уж раз мне дали сознать, что «я емь», то какое мне дело до того, что мир устроен с ошибками и что иначе он не может стоять? Кто же и за что меня после этого будет судить? Как хотите, все это невозможно и несправедливо* (с. 470–471). Ипполита и Настасью Филипповну объединяет одна главная черта – гордость. В минуту просветления Ипполит плачет и просит о помощи Лизавету Прокофьевну, говоря голосом сердца: *у меня брат и сестры, дети, маленькие, невинные... Вы – святая, вы... сами ребенок – спасите их!.. ...помогите, вам бог воздаст за это сторицею, ради бога, ради Христа!* (с. 338–339). Однако в следующее мгновение эти неправильные с позиций гордости искренние слова души он называет *подлым малодушием, стыдом, бредом* (с. 340–341). С позиций гордости неправильными оказываются покаяние и желание прощения: *я... мечтал, что все они вдруг растопырят руки и примут меня в свои объятия, и попросят у меня в чем-то прощения, а я у них; одним словом, я кончил, как бездарный дурак* (с. 444). Как и в ситуации Настасьи Филипповны, гордость делает неправильной любовь и исключает возможность спасения.

Таким образом, роман «Идиот» может быть рассмотрен как своеобразная картина разобщенного мира, в котором каждый замыкающийся в собственной правильности неспособен услышать другого. Об этой невозмож-

ности коммуникации, ставшей нормой жизни, говорит перед своим уходом в безумие Настасья Филипповна после безрезультатной попытки вызвать чувство раскаяния в Тоцком: *Он [Тоцкий] просто таков, каким должен быть* (с. 188). Неспособность и нежелание услышать другого становятся причиной душевной самоутраты Настасьи Филипповны и Аглаи. Однако Достоевский на фоне гибели центральных героев романа оставляет и луч надежды, упоминая в «Заключении» о завязавшемся обмене письмами двух людей из разных слоев общества – Евгения Павловича Радомского и Веры Лебедевой, которая появляется в романе с новорожденной сестрой Любовью на руках. Особо отмечается, что *кроме самого почтительного изъявления преданности, в письмах этих начинают иногда появляться (и все чаще и чаще) некоторые откровенные изложения взглядов, понятий, чувств, – одним словом, начинает проявляться нечто похожее на чувства дружеские и близкие* (с. 694). Этот завязавшийся диалог оставляет в романе надежду на спасение и на преодоление *Мейеровой стены* (с. 445) из исповеди Ипполита Терентьева. «Стена» Ипполита, выступающая как когнитивная метафора, становится ментальной изоглоссой в дискурсе культуры мирового экзистенциализма и является «дискурсивным кодом» для драмы коммуникативного распада человеческого мира. В романе Достоевского каждый отделен от каждого стеной своего «герменевтического круга» со свойственным ему пониманием правильности, и эта стена, поистине, «стена плача», сравнимая с той, каковая в Иерусалиме символизирует стену, воздвигнутую грехом между Богом и человеком.

ПРИМЕЧАНИЕ

¹ Здесь и далее цитаты приводятся с указанием страниц по изданию: Достоевский Ф. М. Собрание сочинений : в 10 т. М. : Худож. лит., 1957. Т. 6. 735 с.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бахтин, М. М. Проблемы поэтики Достоевского / М. М. Бахтин. – М. : Сов. Россия, 1979. – 320 с.
2. Степанов, Ю. С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования / Ю. С. Степанов. – М. : Шк. «Яз. рус. культуры», 1997. – 824 с.

3. Степанян, К. А. «Сознать и сказать»: «Реализм в высшем смысле» как творческий метод Ф.М. Достоевского / К. А. Степанян. – М. : Раритет, 2005. – 512 с.

REFERENCES

1. Bakhtin M.M. *Problemy poetiki Dostoevskogo* [The Problems of Dostoyevsky's Poetics]. Moscow, Sovetskaya Rossiya Publ., 1979. 320 p.

2. Stepanov Yu.S. *Konstanty. Slovar russkoy kultury. Opyt issledovaniya* [The Constants. Dictionary of Russian Culture. Research Experience]. Moscow, Shkola "Yazyki russkoy kultury" Publ., 1997. 824 p.

3. Stepanyan K.A. "Soznat i skazat". "Realizm v vysshem smysle" kak tvorcheskiy metod F.M. Dostoevskogo ["To Realize and to Say". "Realism in Its Highest Sense" as a Creative Method of F.M. Dostoyevsky]. Moscow, Raritet Publ., 2005. 512 p.

THE CONCEPT OF RIGHTNESS IN DOSTOYEVSKY'S NOVEL *THE IDIOT*

Gilmanov Vladimir Khamitovich

Doctor of Philological Sciences, Professor,
Department of Historical Linguistics, Foreign Philology and Document Studies,
Immanuel Kant Baltic Federal University
gilmanov.vladimir@rambler.ru
Aleksandra Nevskogo St., 14, 236020 Kaliningrad, Russian Federation

Gilmanova Anastasiya Vladimirovna

Candidate of Philological Sciences, Librarian,
Kaliningrad Regional Scientific Library
anastasiya.gilmanova@rambler.ru
Prosp. Mira, 9/11, 236022 Kaliningrad, Russian Federation

Abstract. The article addresses the problem of assessment in *The Idiot*, the novel by Fyodor Dostoevsky. The special attention is paid to the specifics of realizing the concept of rightness in the text of the novel. The ideological and communicative disunity and existential loneliness peculiar for most of Dostoevsky's novels, reach the special tragic culmination in *The Idiot*. It is Dostoyevsky's most "polyphonic" novel, but this polyphony is negative as it excludes the possibility of a dialogue and turns out to be the evidence of a communicative deafness for the most of the characters, tragic both for them and for the people around them. The Christian postulate about the impropriety to judge another in the situation of one's own unconscious sinfulness – "...Why do you see the speck that is in your brother's eye, but do not notice the log that is in your own eye?" (Matthew 7: 1-5) is one of the novel's main ideas. In Dostoyevsky's novel the blindness towards one's own sinfulness goes with the blindness towards another. *The Idiot* is a novel about misunderstanding, and about the impossibility of an adequate perception of another. In this context the concept of rightness is actualized differently for each of the characters. The analysis of the lexemes through which this concept is actualized allows us to draw a conclusion on the destruction of the common assessment criterion reflected in the novel.

In Dostoyevsky's novel each person is separated from another by the wall of their "hermeneutic circle" with its own understanding of rightness that can be compared to the "Meyer's wall" from the Hippolyte Terentyev's confession. The Hippolyte's "wall" being a cognitive metaphor becomes the mental isogloss in the cultural discourse of the existential world, and it is also the "discourse code" for the drama of the communicative disintegration of the human world. The tragic disunity of "hermeneutic circles" of the characters causes not only the anthropologic catastrophe, but the real existential collapse leading to dementia and even death.

Key words: concept of rightness, linguistic consciousness, lexeme, assessment criterion, mental isogloss.